

18+

А. В. КОСАРЕВ

ТРЕТЬЯ СМЕРТЬ

**ТАК МЕДЛЕННО И
НЕ СПЕША ПРОХОДЯТ
ДНИ МЕСЯЦЫ, ГОДЫ;
ТАК МЕДЛЕННО И
НЕСПЕША ПРОЙДЁТ
И НАША ЖИЗНЬ**



Анатолий Косарев

**Третья смерть. Так медленно
и не спеша проходят дни,
месяцы, годы; так медленно
и не спеша пройдёт и наша жизнь**

«Издательские решения»

Косарев А.

Третья смерть. Так медленно и не спеша проходят дни, месяцы, годы; так медленно и не спеша пройдёт и наша жизнь /

А. Косарев — «Издательские решения»,

Автор — исследователь вашей «тайной вины». Если вы придирчиво искали идеал или отворачивались от беды — он пишет про вас. Он раскрывает тему «третьей смерти» и выбора остаться человеком, когда внутри близких гаснет разум. Вы поймете, почему красоту в сером пальто не замечают и как простой суп спасает душу. Это не просто рассказы, а путеводитель по выживанию. Завтра — ваша очередь нести того, кто когда-то нес вас.

© Косарев А.

© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Примерка	7
Предел	14
Фильтр	24
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Третья смерть
Так медленно и не спеша проходят
дни, месяцы, годы; так медленно
и не спеша пройдёт и наша жизнь

Анатолий Косарев

© Анатолий Косарев, 2026

ISBN 978-5-0070-1137-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит в обычном трамвае, когда пассажиры отводят взгляд от скандала или, наоборот, осуждающе вздыхают?

Трамвай — это не просто транспорт, это место, где «нельзя уйти», где в течение нескольких минут всё становится настоящим, а не репетицией жизни. За этими случайными встречами скрываются драмы, которые кроются почти у каждого из нас.

Эта книга — исследование **«третьей смерти»**.

Первая смерть наступает, когда останавливается сердце,

вторая — когда имя человека произносится в последний раз.

Но есть третья смерть — **медленная, почти невидимая**, когда человек из вежливости, страха или привычки сам перестаёт позволять себе быть замеченным миром.

Этот сборник — зеркало, в котором вы узнаете себя, родственника или знакомого:

- **Если вы чувствуете себя «невидимым».** Вы можете быть безупречно «правильным» человеком с красным дипломом, но обнаружить, что сами выстроили вокруг себя стены, которые отлично защищают, но и не пускают внутрь саму жизнь.

- **Если вы «улучшаете» свою жизнь до бесконечности.** Мы часто ищем идеального спутника или идеальный момент, возводя фильтры, через которые не может пройти ни один живой человек. В итоге мы не завышаем планку, а просто избегаем реальности.

- **Если вы несёте непосильную ношу.** Наступает день, когда роли меняются местами, и вчерашний ребёнок становится родителем для собственного родителя. Это история о пакетах с картошкой, которые кажутся тяжёлыми не из-за веса, а из-за вложенного в них бессилия и страха.

- **Если вы судите других.** Мы видим лишь «верхушку айсберга» чужой судьбы и спешим вынести приговор, не зная ни дня, ни часа, ни тем более чужой боли. Мы ищем чужой грех лишь для того, чтобы оправдать свой собственный.

- **Если ваше «завтра» сложено вчетверо.** Как часто мы откладываем самое важное — звонок близким, прощение или честный поступок — на придуманное «завтра», которое прячем в кармане, когда жизнь проходит мимо?

Эти рассказы не о «белых перчатках». Они о том, что **сила — это не когда не больно, а когда ты продолжаешь, даже если боль не проходит**. Здесь нет лёгких утешений, но есть нечто более ценное — **понимание** того, как остаться человеком, когда больше не ждёшь, что станет иначе.

Прочитайте эту книгу сегодня. Потому что жизнь — это трамвай, в котором однажды неизбежно наступит ваша очередь — нести того, кто когда-то всю жизнь нёс вас.

Примерка

*Рассказ описывает тот знакомый каждому переломный миг, когда вы вдруг осознаете, что можно всю жизнь «примерять» чужие стандарты «правильности» и оставаться невидимым, а можно — наконец решиться и, словно новое пальто, впервые **примерить на себя право быть по-настоящему замеченным** этим миром.*

«Всё великое — просто. Но красоте нужно, чтобы её увидели, а для этого надо иногда выходить из-за стен».

(По мотивам Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского)

«Есть ещё одна смерть. Медленная. Когда человек сам перестаёт позволять себе быть замеченным — из вежливости, из страха или из привычки».

(В духе Митча Элбома)

I.

Седьмое марта в небольших конторах — это особенный день. Не сам праздник, нет. Праздник завтра, и завтра выходной. Но именно седьмого происходит что-то важное и немного неловкое: мужчины поздравляют женщин, говорят слова, которые не говорят в другие дни, дарят цветы и шоколад — и потом отпускают пораньше, как будто сам факт поздравления уже является подарком. Женщины благодарят, улыбаются, надевают пальто и уходят. Настоящий праздник, если он и случается, происходит потом — дома, в тишине, или вовсе не случается.

Катерина Андреевна в тот вечер задержалась.

Не потому что хотела. Просто деваться было некуда: завтра выходной, а финансовые документы ждать не умеют. Она была единственным бухгалтером в небольшой фирме — этот факт её не тяготил, она давно к нему привыкла, — и поэтому, пока коллеги разбирали конфеты и смеялись над чьей-то шуткой, она сидела за своим столом и проверяла цифры. Цифры не ошибаются. Это она знала точно. Ошибаются люди — и потом цифры честно об этом сообщают.

Отец позвонил в начале восьмого.

— Катюша, я встречу тебя. Поздно уже. Скажи, когда выходишь.

Она хотела сказать, что не надо, что она взрослая, что доедет сама. Но не сказала. Потому что знала: он всё равно придёт. Отец всегда приходил, когда обещал. Это было в нём самое надёжное — как колонны в проектно-институте, где он всю жизнь проработал и дослужился до главного инженера проекта, или ГИП. Колонны стоят, и он стоит.

— Через час, папа. Может, чуть больше.

— Хорошо. Жди меня у витрины, там светло.

Она улыбнулась трубке. По-настоящему, не для вида.

II.

Тридцать четыре года. Это возраст, когда человек уже знает о себе почти всё — и примерно половину этого знания он предпочёл бы не знать.

Катерина Андреевна выросла в семье, где всё было правильно. Отец — главный инженер проекта, человек точный, ответственный, из тех, кто не опаздывает и не бросает слов на ветер. Мать — учительница литературы, умная, начитанная, с тем особым достоинством, которое бывает у людей, проживших жизнь среди хороших книг. Они любили дочь — искренне, без притворства. И они учили её тому, что знали сами: быть правильной.

Правильной — это значит: аккуратной. Сдержанной. Неприступной.

«Ты должна быть принцессой», — говорила мать, причёсывая её перед школой. — «Настоящий мужчина сам придёт. Не надо бегать за ними. Не надо размениваться по пустякам. Жди своего единственного».

Она ждала. Честно. Сначала в школе, потом в экономическом университете, где окончила с отличием — красный диплом лежал дома в ящике стола, мать иногда доставала его и показывала гостям. Потом на работе, которую искала долго, без знакомств, по объявлениям, потому что пробивной характер в неё не вложили, а знакомств не завели. Нашла наконец — небольшую фирму, скромную зарплату и тихий угол у окна.

Принц не приходил. Но она не переставала ждать. Это тоже было правильно.

Красоту свою она не замечала — или не позволяла себе замечать. А красота была настоящая. Та, на которую оборачиваются на улице, но потом быстро отводят взгляд — потому что такая красота пугает. Слишком ровная, слишком серьёзная, слишком недоступная. Мужчины чувствовали это и не подходили. Умная и красивая — вдвойне страшно. Проще пройти мимо.

III.

Когда она наконец вышла из офиса, было почти девять вечера. Она позвонила папе, как должна была сделать.

У магазина рядом с остановкой она остановилась. Постояла секунду, глядя на витрину. Потом вошла — и вышла с тортом. Большой, красивый, перевязанный широкой лентой с бантиком. Она купила его на премию — маленькую, но всё же. Премию дали сегодня, вместе с гвоздиками, в конверте, со словами «за добросовестный труд». Она поблагодарила. Улыбнулась. Взяла конверт обеими руками, как учили.

Торт она несла осторожно — обеими руками, держа перед собой, чуть наклонив корпус вперёд. В другой руке зажаты три гвоздики в прозрачной бумаге. Не пять, не семь — три. Кто-то отсчитал, кто-то завернул. Она не считала.

Трамвай пришёл почти пустым — вечер седьмого марта, основная масса горожан уже давно разошлась по домам. В вагоне было просторно, пахло холодом с улицы и чьим-то парфюмом.

У передней двери сидели и стояли несколько молодых мужчин — шумных, подвыпивших, явно едущих куда-то продолжать праздник. Они говорили громко, перебивали друг друга, смеялись над чем-то своим. Остальные пассажиры смотрели в телефоны — кто в игру, кто в новости, кто в переписку. Обычный вечерний трамвай.

Катерина Андреевна вошла и сразу прошла к окну. Подальше от мужчин у двери. Встала так, чтобы никому не мешать — торт перед собой, гвоздики в руке.

Трамвай тронулся.

За окном плыл вечерний город. Витрины, лужи, силуэты. Она смотрела — и думала о цифрах, которые проверяла весь вечер, о том, что надо позвонить маме, о том, что папа уже, наверное, вышел. В отражении стекла смутно виднелось её лицо. Она не смотрела на него.

IV.

На следующей остановке вошла она.

Дверь открылась резко, впустив мартовский холод — и её вместе с ним. Она появилась в проёме как будто специально выбрав момент: яркая куртка с пушистым мехом на воротнике, короткая юбка, длинные ноги в тонких колготках. В обеих руках — огромные букеты, в каком-то смысле несуразные, слишком большие для трамвая, роскошные. За спиной — бумажные пакеты с подарками, туго набитые. Так поздравляют секретарш и офис-менеджеров — щедро, шумно, на публику.

Мужчины у передней двери замолчали первыми. Потом кто-то достал телефон из кармана — не чтобы позвонить, а чтобы было чем занять руки. Взгляды скользнули по ногам, задержались.

Она это знала. Она всегда это знала — именно так и работало. Мама учила с детства: длинные ноги — это богатство, не надо его прятать. И она не прятала.

Она даже не прошла внутрь. Просто остановилась у входа и посмотрела на сидящих мужчин — спокойно, без злости, без кокетства. Как смотрят на то, что должно произойти.

— *Ну и почему вы сидим?* — сказала она. — *Не видите, кто зашёл?*

Голос был мягким. Совсем не требовательным — почти ленивым. Но в нём было что-то такое, отчего трое мужчин переглянулись и вскочили одновременно, как по команде.

— *Да-да, конечно...* — — *Присаживайтесь, пожалуйста...*

Она села. Не торопясь.

Привычным движением — не нарочитым, почти автоматическим — она устроилась на сиденье так, как её научила улица: чтобы было видно то, от чего мужчины теряют голову. Это был инструмент. Простой, надёжный, проверенный.

Но прежде, чем мужчины успели заговорить, зазвонил телефон.

— *Ну ты где уже?!* — раздался в трубке весёлый, чуть нетрезвый женский голос. — *Мы тебя ждём, всё готово, давай скорее!*

— *Еду, еду,* — засмеялась она. — *Ещё две остановки.*

— *Мы уже шампанское открыли!*

— *Ну вы даёте, на улице... Всё, скоро.*

Она убрала телефон. Подружки ждали на остановке — нетерпеливые, уже навеселе, готовые праздновать на её съёмной квартире, а потом идти в ночной клуб. Впереди был желанный вечер.

Она это знала и от этого знания была возбуждена и весела.

С ней заговорили. Конечно, заговорили.

— *Это вам столько подарили? За один день?*

Она посмотрела на говорившего — весело, без кокетства, просто с удовольствием от разговора.

— *Ну а что, нельзя?*

— *Можно, можно. Повезло вашему офису с таким украшением, как Вы.*

Она засмеялась. Один потянулся к букетам:

— *Давайте помогу, тяжело же...*

Она чуть склонила голову и улыбнулась уголком губ:

— *Вы серьёзно? Хотите оставить меня без цветов?*

Смех. Он смутился.

— *Да я просто...*

— *Просто будьте рядом, мне это приятно* — сказала она мягко, почти нежно.

Он остался. И остальные тоже. Разговор завязался сам собой — лёгкий, праздничный, ни о чём и обо всём. Вагон ожил ещё сильнее.

V.

Катерина Андреевна видела всё это.

Сначала — краем глаза. Потом — внимательнее. Потом поймала себя на том, что уже не смотрит в окно вовсе — смотрит туда, вперёд, на эту сцену, разворачивавшуюся в нескольких метрах от неё.

Это не была зависть. Катерина Андреевна знала зависть — она иногда приходила, холодная и острая, когда кто-то получал то, чего хотелось ей. Это было другое. Это было что-то похожее на удивление, смешанное с чем-то неловким, почти болезненным.

«*Я тоже так могла бы*», — мелькнуло внутри.

Она почти вздрогнула от этой мысли. Что значит — могла бы? Вот так сесть? Вот так улыбнуться? Вот так заговорить первой, не ожидая, пока к тебе подойдут? Она представила себя на том месте — и внутри немедленно стало неловко. Нет. Не она. Она не такая. Мама учила, что достоинство — это молчание и сдержанность. Что мужчина сам должен сделать шаг. Что не нужно бегать за вниманием.

Но мысль не уходила.

Потому что — а где он, этот мужчина, который должен был сделать шаг? Тридцать четыре года. Принц на белом коне что-то задерживается. Может, конь захромал. Может, принц потерял адрес. А может — и эта мысль была самой неудобной из всех — может, принцы не ходят в дома, где не открывают дверь.

Она сделала маленький шаг вперёд. Почти незаметный — просто перенесла вес. Но сердце ударило быстрее.

А если заговорят — что я отвечу? А если не заговорят — что тогда? А вдруг я покажусь смешной? Глупой? Навязчивой?

Она вернулась к окну.

К своему отражению. К торту, который держала перед собой. К трём гвоздикам.

Впереди смеялись. Говорили. Жили — может, немного громко, может, не так, как написано в книгах о достоинстве. Но живо.

VI.

Есть вещи, которые случаются только в трамваях. Не потому, что трамвай — особое место. А потому что в нём нельзя уйти. Несколько минут ты едешь вместе с незнакомыми людьми — и в эти минуты всё настоящее. Потом разойдётесь. Никто никого не запомнит. Но пока едете — это жизнь, не репетиция.

На нужной остановке яркая встала.

Движение было немедленным — вагон как будто качнулся вслед за ней.

— Давайте провожу! — Я помогу с пакетами! — Вам куда?

За окном уже была видна группа девушек — они стояли прямо у остановки, в пальто нараспашку, смеялись над чем-то, махали руками. Нетерпеливые, покрасневшие, явно не трезвые. Подружки.

— Спасибо, мальчики, —

сказала яркая мягко, вставая. *— Вы и так молодцы.*

Один всё же взял пакет. Она позволила. На ступеньках — обернулась.

Случайно. Или нет — кто знает.

Её взгляд скользнул по вагону — и остановился. Прямо на Катерине Андреевне. На той, с тортом и тремя гвоздиками, у окна. Секунда. Она посмотрела — внимательно, без жалости, без насмешки. Так смотрят на что-то знакомое, узнаваемое. Как будто всё поняла с первого взгляда — и саму Катерину Андреевну, и её торт на премию, и её родителей, и красный диплом в ящике стола.

И чуть улыбнулась.

Спокойно. Без злости. Почти сочувственно — но не снисходительно.

Словно сказала без слов:

«Так тоже можно. Но тогда — вот так и будет».

И вышла. Забрала пакет.

Снаружи сразу вспыхнул смех подружек — громкий, радостный, безоглядный. Двери закрылись. Трамвай поехал дальше.

В вагоне шумные мужчины ещё немного поговорили — и быстро вернулись к своей теме. Забыли про яркую. Пассажиры кто продолжал смотреть в окно, кто в телефон.

Всё встало на свои места.

VII.

Катерина Андреевна стояла у окна.

И теперь не смотрела на улицу. Только в отражение.

То же лицо. Та же красота — настоящая, живая, та, на которую оборачиваются, когда она идёт по улице сияя красотой. Только вот оборачиваются — и проходят мимо. Потому что неприступная принцесса сама выстроила вокруг себя стены — высокие, прочные, надёжные. Папа мог бы сказать: хорошая конструкция. Мама могла бы сказать: так и должно быть.

Но стены — это стены. Они защищают. И они же не пускают.

На своей остановке она вышла. Тихо и незаметно, как вошла. Никто не заметил.

На улице был холод — мартовский, честный, без злобы. Обещание весны без гарантий срока.

У витрины она остановилась. Папа задерживался — он написал: «Иду, пять минут». Значит, было время.

Свет из витрины падал прямо на неё — тёплый, ровный. И она увидела себя. По-настоящему, не мельком.

Тёмно-серое пальто — они выбирали его с мамой долго, заходили в магазин несколько раз, трогали ткань, спорили. «Вот это», — сказала мама в конце, и оказалась права. Волосы убраны аккуратно. Лицо — усталое, но живое. В руках — большой торт с бантиком, купленный на премию, и три гвоздики, лепестки которых по краям начинали темнеть — чуть-чуть, почти незаметно.

Она смотрела долго.

Толстой писал, что всё великое просто. Достоевский — что красота спасёт мир. Мама читала ей обоих вслух, когда она была маленькой. Тогда эти слова казались ей большими и важными, как колонны в папином институте. Сейчас она стояла у витрины в мартовский вечер — с тортом и тремя гвоздиками — и думала о том, что красота, может быть, и спасёт мир. Но сначала ей нужно, чтобы её увидели. А для этого надо иногда выходить из-за стен.

Подальше в переулке показалась знакомая фигура. Отец шёл быстро, чуть наклонившись вперёд, как всегда, когда торопился. Он увидел её — и помахал рукой.

Она помахала в ответ.

И вдруг — совсем чуть-чуть, почти незаметно — выпрямилась. Плечи назад. Подбородок чуть выше. Не для кого-то. Просто — примерила другое состояние. Как примеряют пальто, которое долго не решаются взять.

Отец подошёл. Поцеловал в щёку. Взял торт — аккуратно, двумя руками.

— Тяжёлый. Зачем такой большой?

— На премию купила.

— Молодец, —

сказал он просто. И ничего больше не добавил. Он умел так — сказать одно слово, и этого было достаточно.

Они пошли рядом. Молча. Как ходят люди, которым не нужно заполнять тишину словами.

* * *

Митч Элбом написал однажды, что люди умирают дважды: первый раз — когда останавливается сердце, и второй — когда их имя произносят в последний раз. Катерина Андреевна не читала этой книги. Но она знала — каким-то глубоким, некнижным знанием — что есть ещё одна смерть. Медленная. Когда человек сам перестаёт позволять себе быть замеченным. Из вежливости, из страха, из привычки — неважно.

Она несла гвоздики теперь немного иначе. Не как что-то чужое, что надо куда-то пристроить. Просто — в руке. Как держат то, что принадлежит тебе.

Впереди был дом. Ужин. Мамин звонок. Завтра — выходной, восьмое марта, настоящий праздник, который можно провести, как угодно.

И мысль — небольшая, тихая, но упрямая, как первая трава сквозь мартовский асфальт:
можно прожить жизнь правильно —

и остаться незамеченной.

А можно — научиться

показывать себя.

И тогда мир начинает отвечать.

Весна будет. Но не сегодня.

Предел

Рассказ о том, как легко остаться там, где не совсем комфортно,

*И когда надо было давно выйти
Широк человек, слишком даже широк,
я бы сузил.*
Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

*Каждая маленькая ложь, которую мы говорим себе,
строит стену между нами и той жизнью,
которую мы могли бы прожить.*
Митч Элбом

I.

Катя сидела у окна и была счастлива.

Именно так — была счастлива. Это важно сказать прямо, потому что счастье в двадцать лет бывает разным, и то, которое она несла в себе этим дневным трамваем, было из особенных: лёгким, тёплым, немного стыдным — таким, которое не рассказывают маме.

Мама думала, что Катя ночевала у подруги. Готовилась к зачёту. Мама вообще многое думала — и Катя, в общем-то, не разубеждала её, потому что правда была сложнее и требовала объяснений, которые Катя сама себе ещё не дала.

Правда была такая: вчера у Артёма был день рождения. Артём — высокий, с той особой небрежной красотой, которая кажется случайной, но на самом деле тщательно поддерживается. Он умел смотреть так, что казалось — видит тебя насквозь, и именно тебя, а не женщину вообще. Это редкое умение, и Катя, которая знала себя как человека разумного и неглупого, всё равно таяла под этим взглядом, как тает даже очень твёрдый воск — если поднести достаточно близко.

Она ехала домой. За окном плыл обычный день города — витрины, прохожие, голые ещё деревья с намёком на почки. Катя смотрела на всё это и думала об Артёме — не о конкретных словах или жестах, а о том общем ощущении, которое он оставлял: что ты — интересная. Что ты — нужна. Что рядом с тобой — хотят быть.

Это было приятно.
Она не замечала, что улыбается.

II.

Запах пришёл раньше, чем они.

Тяжёлый, смешанный — алкоголь, дешёвые сигареты, давно не стиранная одежда, и что-то ещё, от чего не дают себе точного названия, но от чего тело само чуть сжимается, как от холода. Двери открылись, и они вошли — мужчина и женщина, — и запах вошёл вместе с ними, как третий.

Катя подняла взгляд — коротко, машинально.

Женщина была ещё не старая. Лет двадцати трёх, может, двадцати пяти — трудно было сказать, потому что лицо было из тех, которые сложно читать сквозь усталость. Черты мягкие, что-то в них осталось детское — не наивность, а что-то глубже: незащищённость, что ли. Она держала пакет обеими руками — аккуратно, крепко, как держат что-то последнее, что ещё в порядке.

Мужчина сел, развалившись — широко, вальяжно, с тем особым занятием пространства, которое бывает у людей, которым больше нечего занять. Небритость его была не из тех, что бывают от стиля, — а из тех, что от отсутствия причины бриться.

Катя отвернулась к окну.

Пересела бы — но уже поздно, и это выглядело бы слишком очевидно. Она достала телефон. Открыла ленту. Начала скролить — медленно, без цели, как перебирают четки не от веры, а от желания занять руки.

III.

Маша смотрела на пакет у себя на коленях.

В пакете было две бутылки водки, пластиковые стаканы и чипсы. Всё это она купила утром — рано, ещё до того, как стало совсем плохо в голове, на последние деньги, которые у неё были до следующей... следующего чего? Она давно не работала нигде. Деньги были случайные, как и всё в последнее время.

День рождения.

Сегодня ей исполнилось двадцать три года.

Она тяжело вздохнула — и почувствовала, как её собственное дыхание, тёплое и кислое, разошлось по вагону. Кто-то сзади слегка отодвинулся. Она это заметила. Всё замечала. Это было самое мучительное в ней — она всё замечала, но замечание не становилось действием.

Бабушка.

Мысль пришла вдруг — не плавно, а толчком, как бывает, когда что-то забытое важное всплывает именно тогда, когда уже почти ничего не сделать. Зинаида Павловна. Восемьдесят один год. Третий этаж без лифта, фиалки на подоконнике, программа о природе по утрам.

Бабушка всегда помнила, когда у Маши день рождения. Всегда. Без напоминаний, без записей в телефоне. Просто — помнила. И каждый год — вставала раньше обычного, и пекла пирожки с капустой. Машины любимые. И ещё что-нибудь — по мере здоровья, как сама говорила: «по мере здоровья», — что-нибудь вкусненькое. Варенье открывала. Пирог, если руки слушались. А Маша приходила, заходила в магазин по дороге, брала что-нибудь к чаю — печенье, или конфеты, или творожный торт. Сиделись вдвоём. Пили чай. Без алкоголя — это само собой, это даже не обсуждалось. Говорили о чём угодно. Бабушка рассказывала про соседку Валентину Ивановну, про передачи, про погоду. Маша слушала — и это был, пожалуй, един-

ственный разговор в её жизни, во время которого она не хотела ни убежать, ни спрятаться, ни срочно сделать вид, что она другая.

Бабушка встала сегодня раньше обычного.

Маша это знала совершенно точно, без звонка, без сообщений. Просто знала — так же, как знала таблицу умножения и то, что за ночью бывает утро. Бабушка встала, поставила тесто, раскатала, нарезала капусту.

И ждёт.

«Сволочь я последняя», — не сказала, а почти произнесла вслух, себе под нос. — «Бабушка полночи возилась, ждёт меня, а я вот... все деньги потратила, и едем...»

Последнее слово повисло и не договорилось.

Едем — куда? К каким людям? Зачем? Она честно, прямо сейчас, в этом трамвае, попыталась ответить себе — и не смогла, но тихо произнесла эти три вопроса. Ответа у неё не было. Была только привычка ехать туда, куда говорит Дима, потому что, когда идёшь против — становится хуже, и лучше не надо хуже.

IV.

— Ты что, дура? — сказал Дима спокойно.

Спокойно — это было хуже, чем если бы кричал. Маша знала это давно. Когда он кричал — можно было думать, что он просто злой, что сейчас пройдёт. Когда он спокойный — значит, он уверен. А когда он уверен, она почему-то переставала быть уверена в своём. Это происходило не сразу, а постепенно, как вода подтачивает камень: незаметно, медленно, и в какой-то момент обнаруживаешь, что там, где был камень, — пусто.

— Я бросил все свои дела, договорился с людьми. Они тебя примут, выпьют за твоё здоровье. А ты водки пожалела? Они серьёзные люди. Если понравишься — могут на точку поставить, просительницей или стояльцей. Работа. Деньги. Ты понимаешь, о чём я?

Маша понимала.

Именно это и было самым страшным — она понимала. Понимала, что «точка» и «стояльца» — это не работа. Понимала, что «серьёзные люди» — это не то, чем они называются. Понимала всё совершенно ясно, с той холодной точностью, которая бывает у людей, когда они давно и хорошо знают правду о себе, но предпочитают с ней не встречаться в открытую.

— Меня бабушка ждёт, — сказала она.

— Да что тебе далась бабка. Что она тебе может дать — пирожков? А я договорился. Всю жизнь меня благодарить будешь. Дура. Вот выпьют за тебя уважаемые люди, и поедешь.

— Нет, — сказала Маша.

Это слово вышло неожиданно, даже для неё самой. Маленькое, односложное, но такое тяжёлое, что, кажется, трамвай слегка качнулся от него.

— Что — нет?

— Пьяной, грязной — я к бабушке не поеду. Не поеду вот так.

Дима посмотрел на неё. Долго. С тем выражением, которое она научилась узнавать раньше любого слова — выражение человека, которому только что осмелились не согласиться, и который сейчас решает, как с этим поступить.

— Ах ты... — голос стал чуть тише, что было даже хуже громкого. — Мы едем к уважаемым людям, которые согласились принять тебя. Выпить за твой день рождения. А ты — к бабке? Водки пожалела. Неблагодарная.

Последнее слово он сказал без злобы. Просто. Как говорят очевидное.

Маша открыла рот — и закрыла.

Внутри у неё жил другой человек, несогласный, шумный, который хотел сказать: я не жалела водки, я жалею о том, что трачу свой день рождения вот так; я жалею, что бабушка встала в шесть утра и месит тесто, потому что помнит, что я люблю пирожки с капустой, а я везу чужим людям водку на последние деньги. Этот внутренний человек знал много правильного и важного. Снаружи Маша молчала.

— Неблагодарная, — повторил Дима, уже отворачиваясь к окну. Разговор для него был закончен.

Маша смотрела на пакет.

Пальцы сжались сильнее. Побелели у оснований. Она не заметила этого.

V.

Помолчав, Дима заговорил снова — теперь уже в окно, в пространство, как говорят люди, которым не нужен слушатель, а нужен только воздух, чтобы выпустить слова.

— Ты смотри, как все живут. С расписанием, с работой, с «надо встать», «надо идти», «надо терпеть». Понимаешь? Маятник в часах должен качаться. В этом смысл. В движении. А все люди — зафиксированы. Там, наверху. Чтоб не упасть, чтоб прилично, чтоб всё как у людей. Только это не стабильность — это страх. Просто страх упасть.

Он провёл рукой по щетине. Жест был привычный, почти механический.

— А я — внизу. В самой нижней точке. Меня ничто не держит. Ни начальник, ни будильник. Захочу — пойду. Захочу — лягу. Захочу — выпью и получу удовольствие. Я творческий человек. Никто не скажет «нельзя». Свобода — это когда нет «надо», есть только хочу удовольствия.

Маша смотрела на его руки.

Большой палец правой руки двигался — туда-обратно, туда-обратно, почти незаметно. Она заметила это ещё в самом начале, несколько месяцев назад, когда он говорил что-то убеждённое и важное. Палец всегда двигался именно тогда. Как будто внутри него что-то тоже не соглашалось, но выйти не могло — выходило только через этот большой палец, незаметно, наружу.

Она никогда ему об этом не говорила.

— Есть одна штука, — добавил он, и в голосе что-то изменилось — бравада слегка стекла, как стекает краска под дождём. — Внизу, конечно, не держит — это правда. Но и вверх... вверх уже как-то не тянет.

Он помолчал.

Маша подумала — без злости, просто как факт, — что, может быть, это единственное честное, что он сказал за весь день. За все эти месяцы. Может быть — за всю свою жизнь.

Вверх уже не тянет.

Она посмотрела на свои руки. На пакет.

И подумала о том, что не помнит, когда в последний раз её что-нибудь тянуло вверх.

VI.

Катя убрала телефон.

Не потому, что кончился заряд — заряда было достаточно. Просто слова долетали, и её пальцы перестали двигаться по экрану сами собой, потому что что-то внутри потребовало тишины и внимания к тому, что происходило в трёх рядах от неё.

Она смотрела на женщину.

Внимательно. Так смотрят на что-то, в чём пытаются распознать знакомое. Не злая — это было первое, что она поняла. Не потерянная совсем. В ней было что-то живое, что пробивалось сквозь усталость и запах и этот её пакет с водкой: что-то, чему можно было дать имя, если подобрать правильное слово. Она подбирала. Не находила. И тогда поняла, что правильное слово — не «жалость» и не «осуждение», а что-то третье, для которого в обычном разговоре слова не держат.

«Бабушка ждёт», — сказала та женщина. Просто. Без объяснений.

И вот тут что-то повернулось в Кате — медленно, тяжело, как поворачивается большой ключ в замке, который давно не открывали.

Артём.

Она подумала об Артёме — и впервые за весь сегодняшний день подумала о нём не с теплотой, а с вопросом. С тем неудобным, почти физически неприятным вопросом, который она несколько раз за эти месяцы начинала думать и всякий раз откладывала — потому что думать его до конца было страшно.

Артём почти никогда не платил.

Это было простым фактом, который она почему-то всегда превращала в сложность — находила объяснения: «он художник», «у него сейчас трудный период», «не в деньгах же дело». Она платила в кафе. Она покупала продукты, когда оставалась. Она придумывала объяснения для мамы, когда много тратила, и мама просила отчёт. Она переносила зачёты, перекраивала свои планы, переставляла свою жизнь вокруг его настроения.

Артём смотрел на неё так, будто видел её насквозь.

А может — просто видел, что с ней это работает.

Катя сидела и чувствовала, как что-то в ней медленно, почти беззвучно, рассыпается. Не драматично — не так, как рушатся стены. Скорее так, как рассыпается то, что казалось твёрдым, но оказалось просто — засохшим. Нужно было только нажать.

Она смотрела на женщину с пакетом и на мужчину рядом с ней. На то, как он говорил — уверенно, не глядя на неё, как говорят в пространство, уже зная, что возражений не будет. На то, как она молчала — и в этом молчании было столько всего, что Катя, не зная её имени и её истории, вдруг поняла: она смотрит на себя. Не точно — детали другие, запах другой, обстоятельства другие. Но что-то главное — то же самое.

Пакет с водкой. Зачёт, которого нет. Бабушка, которую она тоже не навещала уже три месяца.

Три месяца.

Катя вдруг поняла, что не помнит, почему.

VII.

Объявили остановку.

Маша это услышала — не ушами, а чем-то другим, тем, что всегда работает отдельно и говорит правду, когда остальное молчит. Она подняла голову. Посмотрела на табличку за окном.

Улица Садовая.

Она знала этот маршрут наизусть — с детства, с тех летних дней, когда они ехали сюда вдвоём с мамой, или она ехала одна, уже постарше, и знала каждый поворот, каждую остановку. Отсюда — две остановки на девятке, потом пешком через двор, мимо старых тополей, мимо голубятни, которой уже нет, но она всё равно помнила, где была.

Сейчас от бабушки её отделяло пятнадцать минут.

Она чуть подалась вперёд. Совсем чуть-чуть — тело само, раньше, чем мысль. Встать. Это было простое действие: разжать руки, встать, сказать «я выхожу» или не говорить ничего, просто — встать. Двери открыты. Ещё секунда.

И тогда — быстрее, острее — пришла другая мысль:

Пьяной. Грязной. Пахнущей вот этим.

Нет.

Нельзя вот так — к бабушке. Бабушка встала в шесть утра. Месила тесто. Она чистая, аккуратная, она накрыла на стол, поставила фарфоровые чашки — те, которые достаются только для гостей и для Маши. А Маша придёт — вот такая. С этим запахом, с этим пакетом, с этим человеком рядом...

— Ты чего? — спросил Дима, не поворачиваясь.

Он почувствовал — так чувствуют изменение давления, когда кто-то в закрытой комнате открывает окно. Не увидел — почувствовал.

— Ничего, — сказала Маша.

— Сиди.

Двери начали закрываться.

Маша смотрела на них. Долго — дольше, чем нужно. Смотрела так, как смотрят на уходящее: не с отчаянием, а с тем тихим, почти спокойным ощущением, которое бывает, когда знаешь, что опоздал, и уже почти примирился с этим.

Двери закрылись.

Трамвай поехал дальше.

Она скажет бабушке завтра. Позвонит сегодня, объяснит. Скажет, что задержалась. Что заедет завтра обязательно. Бабушка поймёт. Бабушка всегда понимала.

Эта мысль была почти утешительной.

Маша не думала о том, что «завтра» она говорила уже много раз. Не думала — потому что думать это было бы слишком. Слишком ясно, слишком больно, слишком точно.

VIII.

Катя смотрела на закрывшиеся двери.

А потом — на женщину, которая осталась.

Что-то в этом «осталась» было невыносимо знакомым. Так остаются не потому, что хотят остаться — а потому что уйти кажется сложнее, чем остаться. Потому что уйти — значит объяснять, доказывать, выдержать взгляд, выдержать слово «неблагодарная», выдержать всё то, что потом. А остаться — просто остаться, и всё как было, и ничего не меняется, и это почти — спокойно.

Почти.

Катя достала из сумки записную книжку. Синяя обложка, потрёпанная — она носила её с первого курса и почти никогда не писала в ней ничего, но носила, потому что так делают люди, которые собираются записывать что-то важное, когда оно появится.

Она вырвала листок.

И написала — быстро, без раздумий, как пишут то, что знают давно, но долго не решались сказать:

«Бабушка будет ждать вас завтра. И послезавтра. И потом.

Но однажды — перестанет.

С днём рождения.»

Она встала. Три шага. Положила листок рядом с пакетом — тихо, не глядя на мужчину, только на неё.

Женщина подняла взгляд — удивлённо, почти испуганно, как смотрят на неожиданное.

Катя не сказала ничего. Что тут говорить? Что всё будет хорошо — она не знала этого. Что надо выйти — та и сама знала. Слова здесь были лишние. Был только листок. И три шага обратно к двери.

На следующей остановке Катя вышла.

Дверь закрылась за ней — с коротким, сухим звуком. Она стояла на тротуаре и смотрела, как трамвай уходит. Смотрела долго — пока он не стал маленьким, пока не скрылся за поворотом.

Потом достала телефон.

Не Артёму.

— Мам, — сказала она, когда ответили. — Я не у Ани ночевала. Я у Артёма была. Я... мне надо тебе кое-что рассказать.

Пауза.

— Я слушаю, — сказала мама. Просто. Без немедленного осуждения. Без «я так и знала». Просто — слушаю.

Катя закрыла глаза на секунду.

Потом начала говорить.

IX.

Маша не сразу поняла, что это такое — листок на коленях рядом с пакетом.

Она смотрела на него секунду, две. Потом взяла. Развернула медленно, как разворачивают что-то чужое, к чему не уверен, что имеешь право.

Читала.

Перечитала.

Что-то двинулось внутри — не слёзы, не слова, а что-то глубже и тяжелее. Как сдвигается земля. Как меняется давление перед грозой.

«Однажды перестанет».

Маша знала, что это правда. Знала совершенно ясно, без сомнений — так, как знают таблицу умножения. Зинаида Павловна. Восемьдесят один год. Третий этаж без лифта. Фиалки. Пирожки с капустой.

Когда-то — перестанет.

Маша сидела очень тихо.

Дима говорил что-то — она не слышала. Слова долетали и не долетали, как бывает, когда внутри слишком громко.

Она думала: завтра.

Завтра она позвонит бабушке. Объяснит. Скажет, что задержалась, что были обстоятельства. Скажет: прости. Приедет — завтра, трезвая, нормальная, в порядке. Купит пирожных, но пока не знает за какие деньги... Бабушка поймёт. Бабушка всегда понимала.

Эта мысль была тёплой. Почти утешительной.

Маша сложила листок пополам. Потом ещё пополам. Убрала в карман куртки, как что-то дорогое, что связывает ещё с бабушкой. Убрала, чтобы Дима не увидел.

Трамвай ехал дальше.

«Завтра» лежало в кармане, сложенное вчетверо.

Маша не думала о том, что это слово она говорила уже много раз. Не думала — потому что некоторые мысли слишком точные и слишком большие, чтобы впускать их целиком. Их впускают по кусочкам. Или не впускают вовсе.

Дима сказал что-то. Она кивнула.

Машинально.

Как кивают в третий раз за день — когда давно уже хотят сказать нет.

* * *

Тот, кто падает, почти никогда этого не замечает.

Это не потому, что слеп. И не потому, что глуп. А потому что падение не выглядит как падение — изнутри. Изнутри оно называется по-другому: «временно», «обстоятельства», «потом разберусь», «завтра всё изменится». Падение не шумит. Оно происходит в маленьких уступках, в привычке кивать, в словах «ладно, не обижайся», в пакетах с водкой на последние деньги вместо пирожных к чаю.

Со стороны это видно иначе.

Со стороны видно: вот человек, который знает правду. Который видит. Который чувствует каждый раз, как закрываются двери. И всё равно — остаётся.

Митч Элбом написал однажды, что мы умираем дважды: первый раз — когда останавливается сердце, и второй — когда последний человек на земле произносит наше имя. Но он не написал о третьей смерти — медленной, почти невидимой. Той, что происходит в трамваях, в маленьких «ничего», в сложенных вчетверо «завтра».

Бабушка в тот вечер ждала до девяти.

Потом убрала чашки. Накрыла пирожки полотенцем — чтобы не черствели.

Сидела у окна.

Смотрела на улицу.

В десять выключила свет в прихожей — на случай, если всё-таки придёт. Чтобы видела: здесь ждут.

В одиннадцать легла.

Маша позвонила в половине двенадцатого — из чужой квартиры, в шуме чужого праздника, немного заплетающимся голосом.

— Бабуль, я завтра приеду. Обязательно. Прости.

— Хорошо, Машенька, — сказала Зинаида Павловна. — Я пирожки оставила.

— Я завтра, — повторила Маша. — Точно.

— Хорошо.

Трубку положила бабушка.

Маша стояла в коридоре чужой квартиры и смотрела в выключенный экран телефона.

Из комнаты доносился смех, чьи-то голоса, музыка.

Она убрала телефон в карман.

Рядом с листком, сложенным вчетверо.

И вернулась к людям.

* * *

Маятник должен качаться.

*Но для этого нужно сначала
отпустить то, что его держит.*

Трамвай шёл дальше.

Обычный день заканчивался.

Только одна остановка осталась позади.

Та, на которой ещё можно было выйти.

Фильтр

для Катерины Андреевны

Рассказ о том, как бесконечный выбор превращается в отказ от жизни

*Человек есть тайна. Её надо разгадать,
и ежели будешь её разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время.*
Ф. М. Достоевский

*Иногда ты не можешь увидеть,
как прекрасна твоя жизнь,
пока не перестанешь её улучшать.*
Митч Элбом

I.

Трамвай шёл ровно, как будто не по рельсам — по привычке.

Катерина Андреевна сидела у окна, держа сумку на коленях обеими руками — не от тревоги, а скорее по выученной аккуратности, той, которую замечают и называют «домашней». Лицо спокойно, почти строго, но в этом спокойствии жило что-то хрупкое — как тонкий лёд, по которому ещё можно идти, но уже нельзя остановиться.

Напротив, сидел Сергей Петрович — друг её покойного отца, полковник в отставке, заведующий кафедрой военного училища связи. Человек обстоятельный, с тяжёлым взглядом и той особой прямоотой, которая появляется у людей, переживших слишком многое, чтобы украшать слова.

Именно он устроил её к себе в военное училище — два года назад, после всей этой её истории с художником. Сказал тогда просто, без лирики: «Там люди понятные. Не богема. Найдёшь себе достойного человека». Она не возразила. Не потому, что согласилась — а потому что не знала, как возразить ни ему, ни матери одновременно, ни собственному здравому смыслу, который в тот момент, признаться, тоже молчал.

Понимала ли она тогда, что соглашается не с местом работы, а со способом жить? Наверное, понимала. Но это понимание было из тех, которые не формулируют вслух — его держат глубоко, за несколькими слоями правильных слов и правильных решений, там, где темно и тихо.

Трамвай дёрнулся на стрелке.

— Ну что, Катя, — сказал Сергей Петрович, глядя в окно. — Тридцать четыре года. Пора подводить итоги.

— Какие итоги? — спросила она.

— Промежуточные, — ответил он. — Никого не выбрала.

Это было не вопросом. Это было констатацией. И молчание, которое последовало, было тоже констатацией — только её.

II.

Прежде чем разбирать военное училище по именам — нужно было вернуться к тому, с чего всё началось.

К художнику.

Его звали Артём. Он был из тех людей, которые занимают пространство — не нахально, не нарочно, а просто: входит человек, и комната становится другой. Голос низкий. Смеялся легко, без усилия. Руки всегда в краске — даже когда он об этом не знал. Она замечала — краска под ногтями, мазок на запястье, — и это её раздражало и притягивало одновременно, что само по себе было для неё невыносимо.

Он ей нравился. По-настоящему. Тем глубоким, неудобным образом, который не спутаешь ни с чем другим — когда хочется не просто видеть человека, а знать, что он думает в три часа ночи, и смеяться над одним, и молчать об одном.

Но.

Несобранность. Витание в облаках. Склонность к алкоголю — не катастрофическая, но заметная, та самая, которую сначала называешь «богемным образом жизни», а потом перестаёшь называть вообще, просто держишь в уме как факт.

Последней каплей стала мастерская.

Она пришла — неожиданно, среди дня. Он открыл дверь растрёпанный, в старой рубашке, с глазами человека, который не спал и не жалеет об этом. За его спиной — холст, большой, в полстены, ещё сырой, с тем особым запахом масляной краски, от которого что-то в груди делает странное движение. И — повсюду: кисти в банках, тюбики без крышек, эскизы на полу. И среди всего этого — грязные носки рядом с открытой недоеденной банкой кильки в томате. Пустая бутылка водки. Грязный стакан.

— Я работал всю ночь, — сказал он. — Ты понимаешь? Смотри, что получилось.

Он говорил о холсте. Она смотрела на носки.

— Ты мог бы хотя бы убрать, — сказала она.

Он засмеялся. Не обидно — по-настоящему, как смеются над чем-то, что кажется им несущественным. И в этом смехе было что-то такое живое и свободное, что она почувствовала одновременно два чувства, которые не уместятся рядом: зависть и отвращение.

Она ушла.

Навсегда.

И объяснила себе — и маме, и Сергею Петровичу — что это было правильно. Что такой человек не может быть опорой. Что жизнь с хаосом — не жизнь, а выживание. Что она заслуживает большего.

Объяснений было много. Все они были правильными.

И ни одно из них не отвечало на вопрос, который она не задавала вслух: любила ли она его?

Да.

Ответ был короткий и неудобный. Она держала его там, в глубине, за правильными словами. Там, где темно.

III.

— Сегодня ко мне заходил Григорий Петрович из финансово-экономической службы, — сказал Сергей Петрович, не меняя тона, будто речь шла о погоде. — Тобой интересовался.

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Под пятьдесят. Жена умерла недавно.

— Он ищет жилетку, на которой можно поплакаться? — спросила она. — нужно ему утешитель?

— Он хочет жену, и тебя рассматривает как кандидата, и хочет успеть пока не совсем старый. Трудно быть одному в старости. А, что ты говоришь несколько разные вещи.

— Он уже старый. Я хочу детей — настоящих, своих, чтобы успеть.

А не чужие болезни, горшки и чужую усталость.

— На него многие заглядываются дамы в училище. Он очень обеспеченный человек.

— Пусть заглядываются, — сказала она спокойно. — Он скользкий.

Когда говорит — в глазах калькулятор. Наверняка он уже подсчитал, что с меня он сможет получить. Типа Дарья Петровна стара для него, а она ведь за ним бегает.

Сергей Петрович кивнул.

— Значит, причина первая: возраст и с ним уже не может быть детей. Причина вторая: это не человек, а калькулятор своей выгоды.

— Да.

— Хорошо, — сказал он ровно. — Второй претендент.

IV.

— Майор Николай Кузьмич. Кафедра радиосвязи. Сорок лет, старший преподаватель.

Она ответила быстро — слишком быстро, когда ещё и вопрос не прозвучал. как отвечают на вопрос, к которому давно готовы:

— У него была семья. И он о ней не говорил.

— А должен был?

— Да. Скрывал.

Пауза.

— Или ты боялась услышать? — спокойно уточнил Сергей Петрович.

Она не ответила. Но внутри что-то отозвалось — неприятно, как когда нечаянно задевают старый синяк.

Она думала об этом раньше. Думала честно, наедине с собой, ночью — когда не нужно подбирать слова. Думала: он оставил квартиру жене и детям. Им придётся жить на съёмной,

будет платить элементы — это ограничит бюджет, свободу, стабильность, всё то, к чему она привыкла считать. Думала: он будет ходить к детям и чувствовать вину — это тяжело, это мучительно, это заразно. Думала: люди меня осудят. Думала: я стану второй. Если он жену с детьми бросил, то что ему помешает и меня бросить... Это первый раз тяжело.

Всё это было правдой.

И всё же — внутри, в той темноте — жила одна маленькая нечестная мысль, которую она не формулировала никогда: он сильно нравился ей. Не так, как художник — по-другому, спокойнее. Но нравился.

— Третий, — сказала она вслух.

V.

— Капитан Александр. Молодой, энергичный. Задаривал тебя букетами — весь гарнизон шептался.

Катерина Андреевна чуть сжала пальцы на сумке.

— Он смотрел на меня... как на икону, — сказала она медленно. — Не как на человека. Он не видел меня — он видел образ, который себе придумал.

— Это плохо?

— Это страшно, — неожиданно для себя сказала она, и по спине пробежал холодок. — Муж подруги начинает беситься, когда видит кривой мизинец на её левой ноге. Она теперь летом не носит открытую обувь. Даже дома. Саня смотрел на меня так, что я уже видела: пройдёт год — и он начнёт ненавидеть именно то, что сейчас боготворит. Разочарование от идеала — самое жестокое разочарование. Она это точно знала, она это уже пережила с художником.

— Значит, ты его отвергла, потому что он любил тебя слишком сильно?

Это прозвучало почти насмешливо, но Сергей Петрович не насмехался. Он просто говорил то, что видел.

— Потому что это были неправильные отношения, — раздражённо ответила она. — Я хочу равенства. Уважения. Чтобы со мной считались, а не поклонялись мне.

— Так.

Он помолчал.

— Значит, третья причина: ты не позволила себя любить несовершенно.

Она резко отвернулась к окну. За стеклом плыл город — спокойный, серый, равнодушный к её обидам.

VI.

— Роман. Программист. Тихий, аккуратный, каждый день приходил — что-то спрашивал про компьютеры, всё изъяснял желание починить, и другого повода не мог придумать. А ты не помогла.

— Мальчик, — сказала она коротко. — Инфантильный. Думаю, спросил у мамы разрешения ухаживать за мной — та разрешила, вот он и ходит до сих пор. Чистенький, аккуратный — мама хорошо следит. Но позвать на свидание не может, стесняется, боится, что откажу. Это же надо решиться самому, а он боится.

— Ты когда-нибудь звала его сама?

Пауза. Небольшая, но заметная.

— Нет.

— Почему?

- Потому что мужчина должен проявлять инициативу, — сказала она уверенно.
- Понятно, — сказал Сергей Петрович. Больше ничего.

Это «понятно» было хуже любого упрека. Она почувствовала его — как укол, быстрый и точный.

VII.

- Николай из столовой. Добрый. Хозяйственный.
 - Толстый, — сказала она.
 - Полноватый.
 - Толстый, — повторила она. — Я не люблю жирных. И у него одна еда в голове — мозги сыром заплыли. Он не мог говорить ни о чём, кроме меню. Однажды мы разговаривали двадцать минут, и за эти двадцать минут он упомянул как он вкусно готовит котлеты семь раз. Я считала.
 - Ты считала котлеты в разговоре с человеком?
 - Я бухгалтер, — сказала она. — Я всё считаю.
- В другой ситуации это могло бы прозвучать как шутка. Но сейчас не прозвучало.

VIII.

- Капитан из хозблока. Василий.
 - Не опрятный. Коротышка — рядом с ним я не могу надеть туфли на высоком каблуке, это будет выглядеть нелепо. И у него чернозём под ногтями. Грязный попар.
- Сергей Петрович кивнул молча. Записывал, видимо, про себя — в какой-то внутренний список, который уже становился длинным.

IX.

- Строевик Сергей Дмитриевич. Молодой и очень перспективный офицер, все говорят.
 - Слишком правильный, — сказала она. — Когда он говорит — хочется встать по стойке смирно. С ним нельзя было играть. Он не понимал игры. Всё — всерьёз, всё — по уставу. Жить так нельзя.
 - Значит, ты с ним пробовала играть?
- Она помолчала.
- Пробовала.
 - И?
 - Он не понял.
 - Или не захотел играть?
- Она снова отвернулась к окну. Трамвай остановился. Люди вошли, вышли. Всё шло своим порядком — только внутри что-то шло не своим.

X.

- Восьмой?
 - Грубый.
 - Девятый?
 - Честный... слишком.
 - Десятый?
- Она помолчала. Дольше, чем раньше.
- Похожий на меня.

Это «похожий на меня» прозвучало странно. Не как комплимент, не как объяснение — как что-то сырое, недоговорённое, из тех слов, которые говоришь и сразу понимаешь, что сказал что-то важное, но ещё не знаешь — что именно.

— Он мне сказал, — произнесла она наконец, почти шёпотом, — что я всё время выбираю. И не живу.

— И ты?

— Отказала.

— Потому что?

Она посмотрела на Сергея Петровича — впервые за весь разговор прямо, без защитного спокойствия, без выученной аккуратности.

— Потому что он был прав.

XI.

Трамвай снова тронулся, и проехали ещё одну остановку. Из трамвая можно выйти и вернуться, хоть на три остановки, но в жизни... Мы не видим, что впереди, видим только то что уже проехали...

Сергей Петрович смотрел на неё долго. С тем выражением, которое она помнила с детства — так смотрел её отец, когда она говорила что-то, что казалось ему важным и что она сама ещё не понимала до конца.

— Значит, — сказал он, — подведём. Первый — стар. Второй — разведён с детьми. Третий — любил неправильно. Четвёртый — слушается маму. Пятый — толст. Шестой — низкоросл. Седьмой — слишком правильный. Восьмой — груб. Девятый — честен сверх меры. Десятый — похож на тебя и говорит правду.

Он остановился.

— Катя. Ты понимаешь, что ни одно из этих требований не является завышенным? По отдельности — нет. Это всё нормальные, человеческие соображения.

Она удивлённо посмотрела на него.

— Тогда в чём проблема, почему я не могу жениться, а мне уже больше тридцати?

— В математике, — ответил он. — Есть такое простое вычисление. Если у тебя десять независимых условий, и под каждое подходит половина людей на земле — то человека, который соответствует всем десяти одновременно, меньше одного на тысячу. А если добавить, что он должен быть в нужном возрасте, в нужном городе, свободен, в нужное время — это уже меньше единицы. А ты ищешь его в военном училище, где людей ограниченное количество.

Она молчала.

— Когда мелких условий слишком много, они в сумме строят фильтр, — продолжил он. — Через который не может пройти ни один живой человек. Вот почему художник с грязными носками остался за дверью. Вот почему десятый — который был прав — получил отказ.

— Но я ведь не требовала ничего особенного! — сказала она. И в голосе впервые появилась горячность, то, что было под спокойным льдом всё это время. — Я же не капризничала, и требования у меня все минимальные. Я не говорила: мне нужен красавец с миллионами, квартирами, машинами и отдыхом на Мальдивах. Я хочу простого, нормального человека!

— Я знаю, — сказал Сергей Петрович. — Ты не планку завышала.

Пауза.

— Ты её вообще не ставила.

— Что?

— Ты не искала идеального, Катя. Ты избегала реального.

Эти слова прозвучали так просто, что сначала — не ударили.

А потом — ударили. Запоздало, как бывает, когда задевают что-то глубокое: сначала тишина, потом — боль.

ХП.

И вдруг — совершенно неожиданно, как оно всегда и бывает с вытесненным — перед ней встала та мастерская.

Запах краски.

Холст в полстены, сырой, живой.

Грязные носки. Килька в томате. Пустая бутылка.

И Артём — растрёпанный, с горящими глазами, с краской на руках — говорящий: «Я работал всю ночь. Ты понимаешь?»

Она тогда стояла и чувствовала не отвращение — а страх. Не к беспорядку. К жизни без формы. К тому, что невозможно упорядочить, предсказать, разложить по полочкам — как колонки в бухгалтерской ведомости.

К жизни, которая живёт.

— Ты его любила? — тихо спросил Сергей Петрович. Как будто прочитал.

Долгая пауза. Та, которая сама по себе — ответ.

— Да.

— Почему не осталась?

Она смотрела в окно. Долго. Слишком долго для паузы — в самый раз для признания.

— Потому что он был... неудобный.

Это слово вышло тихо. Почти стыдливо. Как говорят что-то, что знали давно, но никогда не произносили вслух, потому что вслух оно становится другим — настоящим.

Неудобный.

Не злой. Не жестокий. Не слабый. Не лжец. Не предатель.

Просто — неудобный.

И это — она слышала теперь, в трамвае, в тридцать четыре года — звучало как приговор. Только не ему. Ей.

— Видишь, — сказал Сергей Петрович тише. — Ты не планку держала. Ты всё время искала, где не придётся терпеть.

— А нужно уметь терпеть? — резко, почти зло, спросила она.

— Нужно жить с человеком, — ответил он. — А это всегда означает — терпеть. И чтобы тебя терпели. Думаешь, твоя мать была лёгкой? Думаешь, отец не замечал её недостатков?

— Она не была идеальной, — сказала Катерина Андреевна тихо.

— А отец?

Впервые за весь разговор она улыбнулась. По-настоящему, без выучки.

— Тем более нет.

— А прожили вместе тридцать восемь лет.

— Потому что любили.

— Потому что выбрали — и начали жить, — поправил он. —

Не продолжали выбирать бесконечно. Это разные вещи.

XIII.

Трамвай замедлился.

Сергей Петрович достал из нагрудного кармана маленький блокнот — из тех, что носят люди военные, привыкшие к точности и краткости. Открыл. Что-то писал долго. Протянул ей. И сказал, что это ей для памяти.

Она взяла. Прочитала.

В блокноте было написано три пункта:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.